

Вадим Вацуро

Александр Крюков и его стихи

Стихи, с которыми познакомится читатель в конце этого этюда, принадлежат человеку пушкинского круга, весьма примечательному и талантливому. Случилось так, что Александр Крюков на десятилетия выпал из поля зрения историков и литераторов, но вот уже тридцать лет имя его вписано в комментарии к «Капитанской дочке», и время от времени к нему обращаются исследователи пушкинской эпохи. Конечно, известность его скромна. И все же к нему стоит присмотреться внимательнее. Эта биография, и личная, и литературная, не вполне обычна; проза и стихи тоже не вполне обычны. Это почувствовали и Пушкин, и Дельвиг. Впрочем, все это должен почувствовать и современный нам любитель литературы, хотя и искушенный знанием блестящего созвездия русских поэтов двух веков, — и он ощутит это, если мы сумеем убедительно рассказать о Крюкове.

Александр Павлович Крюков родился, как значится в его некрологе, в 1803 году. Он происходил из дворян, но, видно, очень небольшого достатка: в формулярном его списке 1825 года значится, что никакого родового или благоприобретенного имуществва он не имеет¹. Более о семье его мы не знаем ничего — и жаль, потому что литературные интересы были свойственны — быть может, привиты? — не одному ему, но и его брату Михаилу, семью годами моложе; как и старший брат, он пошел по горной части и вслед за ним писал и печатал стихи.

В 1817 году Александр Крюков вступил в службу в Илецкую соляную контору по части чертежных дел унтер-шихтмейстером третьего класса. В декабре 1819 года Крюков получает чин унтер-шихтмейстера второго класса, а с первого января 1819 года поступает в штат соляного промысла в Илецком соляном правлении, где и получает в 1820 году первый класс, а в следующем — становится шихтмейстером 14-го класса — низший горный чин по табели о рангах. Нечто подобное произошло и с братом его Михаилом, который числился по горному ведомству с 1820 года, то есть девяти или десяти

лет от роду, — и в формулярном его списке сделано соответствующее разъяснение.

Михаил Крюков учился «в бывшем при Илецком соляном правлении Маркшейдерском училище. Оно не имело «определенных границ своего курса, почему воспитанник считался вступившим в действительную службу, в которую определен по горному ведомству в Илецкое соляное правление маркшейдерским учеником»². Итак, нет сомнения, что Александр Крюков также во время обучения считался на службе, — и лишь в 1819 году она стала реальной. Теперь продвижение его по лестнице низших чинов весьма замедлилось: чин шихтмейстера 13-го класса он получил только 30 декабря 1824 года.

Но еще ранее он получил иную, и вовсе не служебную, известность.

Существуют любопытные неизданные письма, написанные из Илецкой защиты и упоминающие имя Крюкова. Они адресованы Ивану Алексеевичу Второву, одному из примечательных культурных деятелей русской провинции, литератору, печатавшемуся в журналах конца XVIII века, автору обширного и богатого сведениями дневника, знакомцу Пушкина, Крылова, Дельвига. Сын его, Н. И. Второв, был близок с И. С. Никитиным. Иван Алексеевич знал илецких горных чиновников; давнишним приятелем его был управляющий Илецкого соляного правления Григорий Никанорович Струков, пятидесятилетний боевой офицер, дослужившийся в статской службе до действительного статского советника³.

М. Де-Пуле, известный историк, написавший обширную биографическую хронику Второвых по материалам дневника Ивана Алексеевича, рассказывал:

«Будучи человеком образованным, Струков любил и окружать себя людьми не только образованными, но и литературными. (...) При нем находился некий Литвинов (Никанор Алексеевич), натуралист, философ и поэт, большой приятель И. А. Второва, очень бойко владевший пером. Он разводил в Илецкой защите виноград, проектировал учредить там экономическое общество для распространения хлебопашества и садоводства, ботанизировал, заводил ланкастерские школы, делал сельскохозяйственные машины, мечтал разбогатеть и в то же самое время рассуждал о происхождении материи и об отношении ее к духу, осуждал философию Канта и писал сентиментальные письма и стихи»⁴.

Эти-то «сентиментальные письма» Литвинова к Второву мы и имеем в виду.

В письме от 8 мая 1822 года — как раз том, в котором идет речь о Канте, поставившем добродетель выше самой религии и тем открывшем пути к нынешней разрушительной философии германцев, — Литвинов рассказывает и о своих илецких знакомцах, и более всего о Крюкове.

«Г. Крюков делит со мною большую часть времени. Я узнал его коротко и радуюсь, что нашел в нем совсем не то, что мне наговорили. Он добр, очень умен, ищет истину, судит даже

об отвлеченных материях здраво, а о литературе прекрасно. Сатирический дух не есть в нем господствующий; он полюбил его чрез похвалы других; но ныне даже сам его не одобряет ни в ком. Он полюбил математику, проходит со мною алгебру, ужасно быстро, думаю через полтора месяца кончить. Его цель: пройти со мною всю чистую математику и помощью ее основательно узнать механику и архитектуру, к которым (он) страстен. Это не мешает нам, как приятным отдыхом, заниматься литературою. Я уговорил его, чтоб он из угождения почтенному нашему генералу и дружбе ко мне посылал со мною сочинения свои в журнал, дабы познакомиться наших соотечественников с словом «Илецкая защита». Но как мы сами себе не доверяем, а совсем худыми быть не хотим, то и посылаем к вам стихи наши. Если они стоят и когда вам не будет в труд, отошлите их в порядочный журнал»⁵.

Второв выполнил просьбу: во всяком случае, с июля в петербургском журнале «Благонамеренный», издававшийся А. Е. Измайловым, стали появляться стихи, подписанные именем Крюкова. Одно стихотворение было посланием «К Н. А. Л.» — к Никанору Алексеевичу Литвинову⁶. Оно написано на разлуку с другом и помечено 22 июня 1822 года, — как мы увидим, Литвинов в ближайшие годы не уехал никуда, — и вероятно, грозящее расставание было временным. Однако в стихах звучит горесть; молодой поэт жаловался на «грозу и ненастье» и кары судьбы неизвестно за что; в адресате же видел целителя душевных мук, которого готов отнять у него враждебный рок. Все это было очень литературно, однако за эгегическими стереотипами, как мы вскоре убедимся, скрывались и совершенно реальные зловключения. Под стихами стояла полная подпись с пометой «Илецкая защита», — итак, поэт принял во внимание просветительные планы Литвинова. Поема становится как бы частью псевдонима-аграммы: «К. (Илецкая защита)».

Крюков печатал романсы, мелкие стихотворения эгегического характера, подражания известным поэтам, особенно Жуковскому.

Эти опыты девятнадцатилетнего юноши, скромно названные «подражанием», были вовсе незаурядны, в особенности для тех лет, когда звезда Пушкина только поднималась. Измайлов понимал это и сделал к стихам примечание: «Издатель «Благонамеренного» просит доставлять к нему и впредь такие хорошие стихи. Для них найдет он всегда место в своем журнале»⁷.

Но Крюков писал и другие стихи, на которые Литвинов сделал в письме темный намек. «Сатирический дух не есть в нем господствующий...», «нашел в нем совсем не то, что мне наговорили...». Итак, молодому поэту и маленькому чиновнику уже сопутствовала неблагоприятная репутация, которая могла ему сильно повредить в среде провинциальных помещиков и чиновников, где существовали свои законы, помимо законов Российской империи. Даже просвещенный Литвинов мягко, но настойчиво стремился отвести его от «сатирического ду-

ха», обратив к началам истины и добродетели, — как он их сам понимал. «Сколько раз (...) я с восторгом говорил достойному моему приятелю г. Крюкову, что истинно просвещенный человек есть всегда пламенный панегирист всего доброго, и добро его тем прочнее и непоколебимее, чем более стремится быть основано на опорах чистого разума»⁸.

Когда Литвинов писал эти строки, он не знал еще, что понадобится всего несколько месяцев, чтобы разрушить его прекраснородушное мечтания и укрепить в Крюкове сатирический дух.

13 ноября он уже пишет Второву о переживаемой им «моральной буре». Связи его со Струковым, занятия в ланкастерских и маркшейдерской школах, его сельскохозяйственные проекты, поощряемые Струковым, не встретили сочувствия, — а через полгода недоверие перешло в открытую враждебность. В его письме от 18 июня 1823 года звучит почти отчаяние.

«Боже! мне не дадут догореть спокойно, отнимают последнее утешение быть полезным человечеству слабыми моими силами; всепорушающий дух губительного Пестерева усиливается в своих правах, и кто знает, может быть, я должен буду потухнуть для Защиты! Жаль, вместе со мною сей истребитель гонит и соловья поэта; ему, как ослу, нужны одни пегухи, и поэт с нежными песнями своими должен будет отлететь и с горестью оставить страну родную, гнездо родное». Он жалуется, что законы философии столкнулись с низким корыстолюбием и завистью и что «губительный Пестерев» вредит ему из-за благосклонности к нему «генерала», то есть Струкова; он уже обвинил его в злоупотреблениях, разрушил школу, дав право учителям не ходить в классы, разорил его сад и пчельник. «Нет, почтеннейший, чувствительнейший Иван Алексеевич! Чтоб знать всю гнусность, с которою здесь подавляется все изящное, надо выслушать всю историю Тартюфа. Вот она. «Все, что мыслит по законам философии, что пленяется прекрасным души и природы, что отличено и уважено генералом, и из чего я не могу извлечь личной себе пользы есть истинный враг мой, коего истребить должен я всеми моими усилиями». Вот оправданное самым опытом правило корифея невежества Пестерева».

Гаврило Иванович Пестерев, сорока восьми лет, обер-гиттенфервальдтер 8-го класса — всего-навсего майор или коллежский асессор, — бергмейстер (смотритель) при выработке илецкой соли⁹. Второй после Струкова человек на илецких заводах. О нем упоминал и Свиньин, не упустив заметить, что при отлучках Струкова в Самару, где находилось Главное правление Илецкого промысла, бергмейстер «исполняет его предназначения и бывает полным хозяином»¹⁰. Полному хозяину не нужны были ни преобразования, ни философия и поэзия.

«По приезде генерала хочу просить ехать лечиться в Оренбург, и если вредный яд Пестерева не будет прекращен, то для спасения остального здоровья пойду в отставку или буду стараться переселиться в Самару, где отменно

хочется быть и г. Крюкову. Гений просвещения опускает у нас светильник свой, поэзия оплакивает его порухение, и скоро на руинах здешнего просвещения вы опять ничего не услышите, кроме крика филинов, ничего не увидите, кроме поляны и терния!..»¹¹

Из Илецкой защиты Крюков, однако, не уехал — ни в этом году, ни в следующем. В 1824 году журналист и романист Павел Петрович Свинын, весьма увлеченный разыскиванием забытых в глуши талантов, побывал в Илецкой защите и обратил внимание на молодого чиновника, обучающегося маркшейдерскому искусству и в часы досуга беседующего с парнасскими девами; «прекрасный талант его в стихотворстве, — замечал путешественник, — известен из многих образчиков, помещенных в «Вестнике Европы»¹². Картина торжества просвещения в провинции, как всегда у Свинына, была идиллической.

В «Вестнике Европы» Крюков, впрочем, действительно печатался.

Между тем конфликт его с провинциальными чиновниками, раз начавшись, не мог погаснуть: он имел слишком глубокие корни.

Через три года, уже в Петербурге, он будет вспоминать «толпу глупцов» родимого края, где заняты важными разговорами о псовой охоте, толками о снах, о курятнике, о соседках; в иронических стихах он расскажет, как патриархальные «невежды» с самодовольным одобрением слушали его стихи, ругая поэта за глаза, и как сам поэт, нечувствительно для себя самого, становился похожим на своих слушателей. И вдруг...

Вдруг — бог мой! одного из них
Не знаю как, задел мой стих!..
Мгновенно поднялась тревога —
И оглушен был бранью я!

Скорей, скорей — давай бог ноги
Бежать от добрых земляков!¹³

Сейчас мы знаем, что это не вымысел, а автобиография.

Мы можем говорить об этом с уверенностью потому, что в формулярном списке Крюкова за 1825 год (когда года еще не прошло после последней его аттестации) в графе «способен ли и достоин к продолжению службы» сделана неожиданная запись. Вместо обычного «способен и достоин», автоматически поставленного в сотнях и тысячах формуляров совершенно способных и недостойных чиновников, — здесь значится:

«По оказавшейся лениности и нерадивости к службе не отстуетца (так!) впредь до исправления».

Запись была сделана рукой Струкова.

Литвинов ждал спасения себе и Крюкову от «твердости генерала». Но генерал принял сторону Пестерева. Это было, пожалуй, более удивительно, чем его чудовищная орфография, явление нередкое даже среди тогдашних любителей литературы.

По-видимому, Крюков слишком раздражал «добрых земляков» — и они отомстили ему самым простым и легким способом. Слова «ленность» и «нерадивость» относились к человеку, изучавшему маркшейдерское дело, математику, механику и архитектуру по собственной воле и вознамерившемуся за несколько месяцев пройти чуть не полный их курс. Нет, их нельзя было понимать буквально. В переводе с чиновничьего языка они означали «своеволие и непослушание».

Изгнание Крюкова было предрешиено. Но он еще несколько месяцев остается в Илецкой защите, и здесь с ним происходит эпизод, едва не стоивший ему жизни, о чем он рассказал потом в очерке «Киргизский набег». Его маленький «караван», прокладывавший дорогу в степи, подвергся нападению «ордынцев», и его спасло только незаурядное мужество и самообладание¹⁵.

Это происшествие скорее всего относится к концу мая 1826 года. В формулярном списке Крюкова за 1825 год «поручение» Крюкова не показано, в мае же месяце 1827 года его уже не было в Илецкой защите, как не было и его брата, Михаила, унтер-шихтмейстера 1-го класса, юноши, если верить формуляру, пятнадцати или шестнадцати лет, в октябре 1826 года уволившегося вообще из горного ведомства и поступившего на службу в Оренбургскую таможню¹⁶. Таким образом, служба неспособного и ленивого чиновника оканчивалась чем-то вроде подвига, хотя и рассказанного в подчеркнuto будничных тонах.

Крюков уезжает в Оренбург.

В очерке «Оренбургский меновой двор» он вспоминал, что был свидетелем прихода каравана из Бухары и Хивы 15 июня 1826 года. И так, в конце мая — начале июня совершилось его двойное избавление.

С кем общался Крюков в Оренбурге, нам решительно неизвестно. Город, отстоявший от Илецкой защиты всего на семьдесят верст, он знал хорошо, видимо, бывая в нем неоднократно; во всяком случае, когда Свинын в июле 1824 года поехал из Илецкой защиты в Оренбург, Крюков снабжал его сведениями, которыми Свинын воспользовался потом для очерка «Картина Оренбурга и его окрестностей». Вторым источником своей осведомленности издатель «Отечественных записок» назвал Петра Михайловича Кудряшова¹⁷.

Здесь начинается область догадок, ибо о знакомстве Крюкова и Кудряшова, которое, буде оно состоялось, могло бы иметь для нашего героя весьма серьезные последствия, нет никаких свидетельств.

Кудряшов был аудитором в Верхнеуральском гарнизонном батальоне и поэтом, печатавшим стихи в тех же самых изданиях, что и Крюков, — в «Благонамеренном» и «Вестнике Европы». Он писал о быте и истории «киргизцев» и знал хорошо казахский и башкирский языки; он собирал фольклор, обрабатывал башкирские песни и предания и интересовался рассказами

о Пугачеве. То же самое, как мы знаем, делал и Крюков.

В 1822 году Кудряшов был переведен в штат Оренбургского ординанс-гауза — и дом его стал своего рода центром притяжения для оренбургских любителей словесности¹⁸.

Кудряшов сам разыскал письмом столичного литератора, заинтересовавшегося Уралом. Приехал, Свинын поспешил к нему. Он нашел его в госпитале, изнеможенного болезнью. Он увидел «стройного молодого мужчину, высокого роста, с томными темно-голубыми глазами и выразительным взглядом, полным кротости, добродушия и откровенности. Величавое чело, омраченное какой-то меланхолией, показывало болезненное состояние души его — и точно: злоба и зависть ввергли его в то плачевное состояние, в котором я нашел его! Действие их ужасного яда — скоро довело его до могилы...»¹⁹.

«Ужасный яд» — «гнев» оренбургского генерал-губернатора П. К. Эссена, возбудившего против Кудряшова судебное дело по обвинению в «уклонении от должности» и ходатайствовавшего об его разжаловании²⁰.

Судьба двух поэтов, столь близких друг другу по социальному положению, местопребыванию, интересам, даже биографии, оказывалась сходной, вплоть до деталей.

В этих условиях знакомство должно было произойти с почти фатальной неизбежностью. Но у Кудряшова было еще более оснований для душевной депрессии, нежели у Крюкова.

Молодой аудитор Оренбургского ординанс-гауза был руководителем Оренбургского тайного общества, «составленного с целью политической» «для произведения политического переворота в краю сем» и «изменения монархического правления в России и применения лучшего рода правления к выгодам и свойствам народа для составления истинного его благополучия...».

В 1826 году общество было на грани раскрытия. Уже собирает сведения провокатор Ипполит Завалишин, рядовой Оренбургского артиллерийского гарнизона, посланный за ложный донос на брата; подпись его стоит под программой общества.

В воздухе стоит страх и тревожное ожидание.

15 апреля 1827 года донос Завалишина вместе с копией устава и подлинниками клятв ложится на стол генерал-губернатора Эссена. Эссен арестует 80 человек, и в их числе Кудряшова, — впрочем, его вскоре освобождают за отсутствием прямых улик.

Кудряшову все уже почти безразлично: он болен смертельно. 9 мая 1827 года он умирает от апоплексического удара²¹.

Вскоре после трагического окончания этих событий Крюков исчезает из Оренбурга.

Конечно, он не был никак причастен к событиям, которые хотели произвести на Сенатской площади гвардейские полки в декабре восьмисот двадцать пятого, и скорее всего никак не был замешан в деле об оренбургском обществе. Но

репутация вольнодумца, которую так легко было получить в провинции, в эти месяцы могла стоить — и уже стоила — ему дорого.

Под его стихотворением «Воспоминание о родине» стоит помета: «1 июля 1827. С.-Петербург».

Вслед за ним уезжает и брат Михаил, «по желанию» вызванный «начальством» на службу в Кавказскую область.

Для Крюкова начиналась новая жизнь.

Петербург предстал ему в великолепии дворцов и в сиянье огней на вечернем небе. Он написал стихи, где жаловался на преследующую его злобу «безумцев», и просил приюта у хранилильных стен Петрополя.

Как капля в бездне вод кипящих,
Как в море легкая струя,
В сени твердынь твоих гремящих,
В твоих толпах — исчезну я!

(«Приезд», 1827)

В Петербурге Крюков поступает в департамент внешней торговли на должность столоначальника. Он все же оказался «способен и достоин» — это как нельзя лучше показал опыт оренбургской службы. В столице его карьера чиновника оказывалась благополучной.

Его первые петербургские стихи появляются в «Сыне отечества» в 1827 году. Это было совершенно понятно. Н. И. Греч печатал его первые стихи — и конечно же, молодой провинциал отправился к нему, чтобы закрепить личной встречей заочное знакомство.

Сохранилась и записка его к Свиныну, к сожалению, без даты²².

Эта записка — единственный дошедший до нас автограф Крюкова и — если она написана в Петербурге — единственный прямой знак его петербургских литературных связей, — за одним, впрочем, исключением, о котором пойдет речь ниже. Предчувствие поэта, что он исчезнет, поглощенный столицей, сбывалось самым парадоксальным образом. Петербург, как мы видим, принес ему некоторую известность и обеспечил ему скромное, но неотъемлемое место в истории русской словесности, — но он стер почти все следы его биографии. Имя его не упоминается в переписке петербургских литераторов 1820—1830-х годов, и собственных его писем к ним нет, если не считать упомянутую нами записку. Тем временем стихи его и проза появляются в петербургских журналах и альманахах, — и по ним мы можем приблизительно прочертить его литературные связи.

В 1828 году он печатается в «Памятнике отечественных муз» у Бориса Федорова. Это был первый альманах, куда он отдал свои стихи еще в 1827 году; там, в частности, напечатан его «Приезд».

К началу 1828 года у него уже готова книжка стихов. Он отдает в цензуру рукопись «Опыты в стихах Александра Крюкова» и 24 января

получает одобрение. Книгу, однако, он не печатает — может быть, за недостатком средств и за отсутствием издателя²³.

Он отдает стихи в воейковский «Славянин» и в «Карманную книжку для любителей русской старины и словесности на 1829 год».

Все эти издания считались отнюдь не первоклассными; печатались в них чаще всего известные молодые литераторы, да разве еще Ф. Н. Глинка, щедро откликнувшийся на любые просьбы альманашиков. Но именно в этой среде у Крюкова завязались знакомства.

Он познакомился с издателем «Карманной книжки» Валерианом Николаевичем Олиным²⁴.

В «Карманной книжке» Олина появилось и послание Крюкова, обращенное к А. А. Башилову, молодому поэту, страстному почитателю Пушкина. Башилов тоже напечатал свое послание Крюкову. Они должны были найти общий язык: в самих стихах их обнаруживается некоторая общность поэтических устремлений²⁵.

Башилова упрекали в печати, что он подражает Пушкину. Кюхельбекер так и называл Крюкова, чьи стихи читал в заточении и на поселении: «небесталанный» «подражатель Пушкину»²⁶.

Словно отвечая своим критикам или предвосхищая упреки, Крюков пишет свою поэтическую декларацию «Подражатель», парадоксально оправдываясь тем, что он следует за великими образцами, стало быть, умеет их ценить. Это было смело: обвинения в подражательстве боялись.

Вслед за тем он входит в пушкинский круг. Каким образом это произошло — неясно. Может быть, его ввел сюда Орест Сомов, в свое время близкий сотрудник «Сына отечества».

В «Северных цветах на 1829 год» была напечатана его «Нечаянная встреча»; в «Литературной газете» — «Охлаждение» и «Два жребия». Кроме того, и в «Цветах», и в газете появилась его проза: очерк «Киргизский набег» и отрывок «Киргизцы» из оконченной несколькими годами ранее повести «Якуб-батыр»: об уральском казаке Якове Белякове, в детстве попавшем в плен к ордынцам и воспитывавшемся среди них, — фигуре почти легендарной.

Повести нравились; критики писали о выработанном, даже до излишества, «слоге» и о чрезвычайной занимательности экзотических тем. Но для Крюкова экзотика была бытом: он попадал в родную стихию.

Его мучила ностальгия.

В его стихах причудливо сочетались воспоминания о дикости степных помещиков и злобе илещих чиновников с неуправляемой тягой к родному пепелищу, к патриархальной простоте бесхитростных человеческих чувств, не скованных столичным этикетом, к бескрайним степям Башкирии и Казахстана, где кочуют батыры на приземистых конях, не запяженных в грохочущие кареты. Его руссоизм окрасивался личным чувством, и темы традиционной элегии преобразались.

И стало жаль мне бед минувших,

И заблуждений юных дней,

И упований обманувших,

И неба родины моей.

Проснулось давнее желанье

В знакомый край направить путь,

Узреть небес родных сиянье,

Родимым воздухом дохнуть!

(«Письмо», 1830)

И столь же сложным оказывалось его отношение к городской цивилизации. Столица оставалась центром и источником просвещения — и традиционным источником урбанистических зол. Это было характерное для романтиков и сентименталистов неприятие города — не конкретного, реального, но города вообще, гнездилища и нищеты и роскоши, чьи контрасты обнажаются яснее всего, когда умолкает дневная суeta.

Особенность этих стихов — сочетание элегии и сатиры, «прозы» и «поэзии», лиризма и иронии. Ирония пронизывает все, даже самовосприятие поэта. Она окрашивает и образ одинокого мечтателя, блуждающего по ночному городу; она прокрадывается и в элегические автопортреты, колебля, казалось бы, незабываемые поэтические ценности. Она хотя бы отчасти уберегала поэзию от повторения общих мест и устоявшихся формул.

Именно такие стихи Крюкова выбирали Пушкин и Дельвиг для «Северных цветов» и «Литературной газеты». Что же касается его прозы, то она была предостережена, как мы уже видели, очерком и отрывком из повести, рисующими «нравы, обычаи, суеверия и обряды достопримечательного народа», который, как писал Крюков, «живучи с нами в тесной связи, менее, может быть, нам известен, нежели дикие обитатели Африки и Нового Света»²⁷.

Еще в 1824 году он вкладывал в уста Каратая совершенно байронические излияния; сейчас его ностальгия находила выход в идеализации собственного прошлого, и идеализация эта имела двойную природу — и биографическую, индивидуальную, и общую, мировоззренческую, если угодно, эстетическую. «Кому, подобно мне, — писал он в «Киргизском набеге», — случалось странствовать по степям, тот, конечно, не спросит: отчего все номады так сильно привязаны к своей дикой, кочующей жизни. Поверите ли, что сия незавидная и, по-видимому, даже бедственная жизнь имеет свои радости, свои наслаждения, вовсе не известные слабым, изнеженным обитателям городов и столиц?»²⁸

Сохранился один любопытный биографический и эстетический документ, показывающий, что в этом пассаже слиты воедино, как говорил Гёте, — «правда» и «поэзия». Документ этот — письмо к Крюкову, дошедшее до нас не полностью и без имени корреспондента: оно было переписано как общественно интересное моралистическое рассуждение. Оно относится к 1830 году и озаглавлено в копии «Письмо здорового к больному». Неизвестный автор размышлял об образности жизни и хандре, которая поражает равно и петербургского чиновника, и светского человека, и сельского жителя. «...На земле или

совсем нет счастья, или оно не таково, как жаждет сердце». Он продолжал в письме некогда начатый разговор; очевидно, Крюков признавался ему, что он испытывает нечто подобное. «...Скука, которую чувствуете вы, я и много других, по моему мнению, происходит от того самого счастья, которое так превозносят мудрые. Не утомительно ли видеть около себя одни и те же предметы, слышать одни и те же звуки?»

«Спокойствие и однообразие усыпляют деятельность (...) души; отсюда рождается и скука: итак, чтобы не скучать, нужно, чтоб душа по временам была приводима в сильное потрясение»²⁹.

Не поиски ли этих «потрясений» опять гнали Крюкова — на этот раз уже из Петербурга? Под одним из его стихотворений стоит помета: «1831. Астрахань».

В 1832 году он пишет превосходную вариацию на байроновские темы — «Отъезд». В нем тоже была и «поэзия» и «правда», потому что подлинное мироощущение было заключено в привычные уже литературные формы. Это были уже последние стихи.

В конце февраля 1833 года в «Северной пчеле» появилась маленькая заметка:

«Здесь, в С.-Петербурге, 7 февраля, скончался, после непродолжительной болезни, превратившейся в белую горячку, служивший столоначальником в Департаменте внешней торговли титулярный советник Александр Павлович Крюков, на 31-м году от рождения. Многие из литературных произведений его обличали талант, можно сказать, необыкновенный. Любители отечественной словесности помнят его статью, напечатанную под названием «Киргизского набега» в «Северных цветах на 1830 год», некоторых повременных изданиях; сверх того, как чиновник, он соединял в себе все нужные для сего качества и мог бы при своих способностях принести оцутительную пользу службе, — но ранняя смерть положила конец всему. (Сообщено от одного из сослуживцев покойного.)»³⁰

Грустная ирония судьбы! По смерти чиновник Крюков был объявлен «способным и достойным» к продолжению службы. Но теперь действительно все было кончено — и стихи и проза, не собранные и не изданные отдельно, были также погребены в обширной журнальной могиле, как сам их автор, успокоившийся в петербургской земле.

Но историческая и культурная память общества чревата своими неожиданными, за которыми, впрочем, почти всегда стоят некие общие законы. И скромная фигура безвременно умершего поэта обрисовывается сейчас перед нами и случайно, и закономерно.

В черновых рукописях «Капитанской дочки» Пушкина есть набросок неоконченного предисловия, где сказано: «Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю. (...) [Несколько лет тому назад в одном из наших альманахов напечатан был]»³¹. Далее Пушкин писать не стал и последнюю фразу зачеркнул. Тем не менее именно она

побудила исследователей обратить внимание на возможный сюжетный источник «Капитанской дочки». Им оказался «Рассказ моей бабушки», напечатанный в «Невском альманахе на 1832 год» и подписанный «А. К.»³².

«Рассказ моей бабушки» впервые связал с «Капитанской дочкой» Н. О. Лернер в 1933 году. Уже по его следам шел В. Г. Гуляев, напечатавший статью с детальным сопоставлением текстов, — и он же впервые попытался назвать имя автора. Им был, как он полагал, А. О. Корнилович, ссыльный декабрист, историк и автор исторических повестей.

Имя подлинного автора было названо почти через двадцать лет и почти одновременно двумя исследователями: Н. И. Фокиным и швейцарским славистом д-ром П. Брангом. «Рассказ моей бабушки» принадлежал А. П. Крюкову. Сопоставление его с фактами биографии писателя и текстуальные параллели с его прозой сделали эту атрибуцию несомненной³³.

А еще через двадцать лет обнаружилась и другая, не замеченная ранее, точка соприкосновения прозы Крюкова с «Капитанской дочкой». Она находится в хрестоматийно известной сцене бурана, и как раз в том месте, которое издавна привлекало к себе внимание. В мутном кружении метели Петруша Гринеv видит вдали что-то черное. «Эй, ямщик! — кричал я. — Смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек».

Эта деталь — автореминисценция: она попала сюда из «Бесов»:

...Кони стали... «Что там в поле?» —
«Кто их знает? пень иль волк?»

В первоначальных вариантах стихотворения — еще ближе:

Что там черно? пень иль волк?

Здесь нам приходится вспомнить «Киргизский набег»: «...Заметив однажды вдали неподвижную точку, я спросил одного из моих козачков, не может ли он рассмотреть, что там чернеется? «Куст или беркут», — отвечал он сухо. «То-то; смотри, не киргизец ли?» — «Ну так что ж, хоть и киргизец». — «Как бы они не напали на нас врасплох?» — «Пускай попробуют!» — сказал прехладнокровно козак. Тем и разговор кончился»³⁴.

Близость здесь не в текстуальном совпадении, а в самом построении диалога, не говоря уже о пространственной организации сцены. За двумя интонациями — тревожно-заинтересованной и равнодушной — вырастают два характера, и Пушкина больше интересует второй. Ямщик, казак не проявляют заинтересованности, потому что куст, беркут, пень, волк в степи привычны. И «киргизец» также привычен и потому не страшен, как страшен он городскому человеку, наслушавшемуся рассказов о его ко-

варстве и жестокости. Это было маленькое психологическое открытие, и Пушкин воспользовался им в третьей главе «Капитанской дочки»:

«Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». <...> «Пустяки! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». — «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она <...>»³⁵.

В этой сцене была еле заметная капля меда и Александра Крюкова. Проза его входила в литературный шедевр на правах художественно-документального источника, подсказывая сюжетные ситуации, обогащая частными наблюдениями, деталями незнакомого быта и даже характерологическими черточками. Она преобразилась рукой великого мастера, но питала его создание, как питают ручейки величественную полноводную реку. И как бы в благодарность за это ее собственная литературная жизнь продолжилась на сто пятьдесят лет.

«Рассказ моей бабушки» переиздан в приложениях к «Капитанской дочке». О нем написаны исследования — и даже небольшая книга д-ра Петера Бранга. В антологиях поэтов пушкинской поры печатаются стихи Крюкова.

И то, что мы предлагаем сейчас читателю, есть тоже результат самовоскрешения культурных ценностей.

Среди бумаг архива Майковых, хранящихся в Пушкинском доме, есть три тетради, переписанные каллиграфически и украшенные рисунками. Это — рукописный альманах «Подснежник», который издавало семейство Майковых в 1835—1838 годах. Здесь помещались проза и стихи Евгении Петровны Майковой, матери поэта Аполлона Николаевича и критика Валерияна Майкова; обоих ее сыновей и близких к кружку поэтов — И. Бороздны, И. Карелина, П. Ершова (автора «Конька-горбунка») и самого значительного из всех — В. Г. Бенедиктова.

И там же помещал свои стихи «Солик» — Владимир Аполлонович Солоницын, близкий друг семьи, руководивший воспитанием молодых Майковых. Он и был инициатором альманаха. Этот Солоницын был племянником Владимира Андреевича Солоницына (1804—1844), любителя искусств и изящной словесности, в начале 1840-х годов помогавшего О. И. Сенковскому издавать «Библиотеку для чтения»³⁶.

Несколько лет назад профессор И. Г. Ямпольский, занимаясь архивом Майковых и пересматривая «Подснежник», обратил внимание на стихи, подписанные «Крюков» и снабженные заметкой, которую мы приведем целиком:

«Александр Павлович Крюков, молодой человек с весьма сильным талантом, рано поки-

ценный смертью у русской литературы, в которой он мог бы занимать очень видное место. Его сочинения, в стихах и в прозе, рассеяны по разным журналам и альманахам; многие остались ненапечатанными. Редактор «Подснежника», быв с ним очень дружен, наследовал все его бумаги. Жизнь Крюкова может служить редким примером того, до чего страсти могут довести человека пылкого и чувствительного. Мы постараемся сообщить когда-нибудь нашим читателям его биографию и тогда же поместим несколько выписок из его любопытного дневника»³⁷.

Итак, Крюков нашел в Петербурге свой дружеский и даже литературный круг, — и круг этот состоял из литераторов, служивших вместе с ним. Владимир Солоницын, почти его ровесник, был чиновником департамента внешней торговли. Вероятно, он и был тем «сослуживцем», который поместил в «Северной пчеле» полную горя некрологическую заметку. И он же, конечно, познакомил Крюкова со своим племянником, которого воспитывал, — и юноша наследовал бумаги поэта и стал «публиковать» их в рукописных альманахах.

Дядюшка же Солоницын попытался дать стихам покойного более широкую аудиторию. В 1841—1842 годах в «Библиотеке для чтения» печатается несколько стихотворений с подписью «Крюков». Эти стихи были в числе тех, которые мы находим и в «Подснежнике», — и только поэтому мы можем отождествить никому не известного «Крюкова» из журнала Сенковского и Солоницына с автором «Рассказа моей бабушки».

И наконец, мы можем задать вопрос: не сохранились ли неизданные бумаги Крюкова? Ведь они в отличие от многих и многих были замечены и сбережены литераторами, знавшими им цену. В «любопытном дневнике», который читали и Солоницыны, и, конечно, Майковы, могли содержаться ответы на многие вопросы, сейчас для нас неразрешимые; в нем заполнились белые пятна скудной биографии талантливого писателя, приоткрывалась его духовная жизнь и, быть может, рассыпаны драгоценные сведения о Дельвиге и о Пушкине.

Но у нас нет ни дневника, ни прочих бумаг, которые не успели обнародовать Солоницыны. Нет никаких их следов в хорошо сохранившемся обширном архиве Майковых. От Солоницыных же остались только письма — архив их до нас не дошел.

Пока что у нас нет ничего, кроме копий стихов, предлагаемых ныне читателю, — но и они, повторим, представляют большую ценность, — и не только историческую. Среди этих элегий, романсов, посланий, стоящих в целом на уровне средней поэтической культуры пушкинского времени (а уровень этот был довольно высок), — есть несколько первоклассных, в чем может убедиться современный читатель.

А. П. Крюков

СТИХИ 38

ОТЪЕЗД

Далеко, на скалах, в степи,
 Приют сыщу себе;
 А ты, о родина, прости!
 Ночь добрая тебе!

Б а й р о н; перев. Козлова

Пошел, пошел, ямщик лихой!
 Ударь по всем по трем!
 Прощай, прощай, мой край родной!
 Прощай, мой отчий дом!
 Не много благ, не много бед
 В тебе покинул я!
 Покинул вас, неверных лет
 Неверные друзья!
 Еще вчера моих проказ
 Исполнен был ваш круг,
 А завтра — уж никто из вас
 Не скажет: «где-то друг?»

Тебя покинул я, тобой
 Мечтал я быть любим,
 Но думы дёвы молодой
 Легки — как легкий дым!
 Пройдут печально день и ночь;
 Поплакав в тишине,
 Ты оторвешь от сердца прочь
 И память обо мне.
 И скоро явится другой
 Со лъстивым языком...
 Пошел, пошел, ямщик лихой!
 Ударь по всем по трем!

Но горько мне, но больно — жаль
 Неверных мне терять,
 И долго тайная печаль
 Мне сердце будет жать.
 В высокой доле и в чести
 Все думая об них,
 В толпе людей, в чужих краях,
 Не выберу других.
 Чуждаясь всех, для всех чужой,
 Засну могильным сном...
 Пошел, пошел, ямщик лихой!
 Ударь по всем по трем!

* * *

Каратаю,
 киргизскому наезднику,
 похитителю русской дёвы

Прелесть дев твоих, Россия,
 До чего унижена!..
 Злобным племенем Батяя
 В тяжкий плен увлечена,—
 И киргизец, сын хищенья,
 Буйной страстью к ней горит...
 Нет защиты! нет спасенья!
 Ей грозят и смерть и стыд.
 Не видать ей Русь святую,
 Ей не ластиться к родной,
 Не покоить ей родную
 На груди своей младой;
 С милым родины героем
 Не менять уж ей кольца,
 Не стоять перед налоем
 В блеске брачного венца!

1831

СВЕТСКАЯ КРАСАВИЦА

Всмотрелся ль ты в игру очей
 Сего коварного творенья?
 В ней вовсе нет огня страстей —
 Огня любви и наслажденья?
 В ней только блещет гордый ум,
 Самим собой всегда надменный,
 Всегда несчастный и блаженный
 Одним волненьем тщетных дум.
 В сердца глубоко проникая,
 Любви он хочет, не любя,
 И ставит выше всех себя,
 Молвы гремушку обожая.

ЖАЖДА ЛЮБВИ

Я некогда страдал, обиженный людьми,
 И глупым случаем, и ненавистным
 роком;
 Я некогда взывал к судьбе моей: «Вонми
 Моленью юности в страдании жестоком
 Влачащего златые жизни дни!
 Спаси его, судьба, от лютого презренья,
 От подлой нищеты, родительницы бед,
 Или даруй ему терпенье, и умение
 Возненавидеть жалкий свет!»
 Но гордая судьба молитве не внимала,
 И сердце юности страданью предавала.
 Теперь и знатен я, и силен, и богат,
 А сердце прежнее мученье переносит!
 Оно любви, любви безмерной
 просит,
 И нет ему ни счастья, ни отрад.

МОЙ ДЕНЬ

Желашь ли узнать, мой друг,
Как твой философ равнодушный
Теперь живет в деревне скушной?
Покамест мне большой досуг,
Я опишу тебе подробно
Мое житье, или мой день.

Живу я, право, бесподобно!
Со мною ласковая лень
Союз на лето заключила:
Ее, как друга, я люблю.
Досадный труд душа забыла:
Полсуток я спокойно сплю
И целый день потом — зеваю!
Но часом, лежа на боку,
Бову и Муромца читаю;
Когда ж пройдет палящий зной
И солнце сядит за горами, —
Иду бродить в глуши лесной,
С душой исполненной мечтами.
И часто там, в сени дерев,
Невольно брежу я стихами;
Там иногда — ужасный рев
Внезапной бури иль сиянье
Зарницы в темных небесах —
Во мне рождает краткий страх,
Или томит меня желанье
Каких-то темных, милых благ.
Но лень с улыбкой водворяет
В душе усталой тишину,
Мечта мгновенно отлетает —
И друг твой предается сну.

Вот весь мой день! и ты, конечно,
Меня не будешь осуждать:
Блажен, кто в жизни скоротечной
Умел лениться и мечтать!

1825

ПЕСЕНКА

Ночи ясное светило
Дол туманный озарило —
Я брожу один с тоской,
Без тебя, мой ангел милый,
Счастье сердцу изменило,
Вянет друг печальный твой.

Игры, радости — толпою
Все умчались за тобою
В неизвестный смертный край.
Я сказал «прости» покою...
Ах, зачем же ты с собою
Унесла мой светлый рай?

Над эфирными полями,
Где небесными огнями
Чистый воздух озарен;
Где нетленными цветами,
Как узорными шелками,
Мир душистый испещрен;

Где, в веселости беспечной,
Блага жизни скоротечной
Разлюбила ты душой;
Где все прочно, где все вечно —
Там надеюсь, друг сердечный,
Неразлучным быть с тобой.

1823

Публикация И. Ямпольского

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ ЦГА. Ф. 1349, оп. 3 № 1179, лл. 156—167.

² Там же.

³ ЦГА. Ф. 1349, оп. 4 (1825 г.), № 80, л. 7.

⁴ М. Де-Пуле. Отец и сын. — Русский вестник, 1875. № 7, с. 106—107.

⁵ ЦГАЛИ. Ф. 93, оп. 2, № 3, л. 102 об.

⁶ Благонамеренный. 1822, № 35, с. 337.

⁷ Крюков. (Илецкая защита. 11 марта 1822.) Пловец. (Подражание Жуковскому.) — Благонамеренный, 1823, № 8, с. 110. Перепечатано: Пловец. — Сын отечества, 1823, № 12, с. 229 (подп. К. (Илецкая защита)).

⁸ ЦГАЛИ. Ф. 93, оп. 2, № 3, л. 1 (письмо Второву от 8 мая 1822 г.).

⁹ ЦГА. Ф. 1349, оп. 4 (1825 г.), № 80, лл. 13 об.— 15 об.

¹⁰ Отечественные записки. 1825, № 64, август, с. 157.

¹¹ ЦГАЛИ. Ф. 93, оп. 2, № 3, л. 109 об.— 110.

¹² Свиньин П. П. Посещение Илецкой защиты в 1824 году. — Отечественные записки, 1825, № 64 (август), с. 152.

¹³ Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 1, с. 542. Далее цитаты, кроме специально оговоренных случаев, — по этому изданию.

¹⁴ Северные цветы на 1830 год. Проза, с. 116.

¹⁵ Там же, с. 123—124.

- ¹⁶ ЦГИА. Ф. 1349, оп. 3, № 1179, л. 156—167.
- ¹⁷ Отечественные записки. 1828, № 99, с. 4.
- ¹⁸ (Свиньин П. П.) Петр Михайлович Кудряшов, певец картинной Башкирии, быстрого Урала и беспредельных степей Киргиз-Кайсаких. — Отечественные записки, 1828, № 100.
- ¹⁹ Там же, с. 164—165.
- ²⁰ Рабинович М. Д. Новые данные по истории Оренбургского тайного общества. — Вестник АН СССР, 1958, № 7, с. 107.
- ²¹ Рабинович М. Д. Новые данные для истории Оренбургского тайного общества, с. 109; ср. Большаков Л. Отыскал я книгу славную... Разыскания и исследования. Изд. 2-е, доп. Челябинск, 1983, с. 226—227. О Кудряшове см. также: Рахимкулов М. Г. Встречи с Башкирией. От Пушкина до Чехова. Башк. кн. изд-во. Уфа, 1982, с. 169—180.
- ²² ГПБ. Ф. 679 (П. П. Свиньина), № 74.
- ²³ Вацуро В. Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978, с. 160.
- ²⁴ См. его прошение о разрешении издавать журнал «Северный вестник» (1828). — ЦГИА. Ф. 777, оп. 1, № 858. Биографию Олина см.: Степанов В. П. В. Н. Олин. — В кн.: Поэты 1820—1830-х гг. Т. 1, с. 116—118; Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 12-ти томах. Под ред. и с прим. С. А. Венгера. Спб., 1901. Т. IV, с. 513—519.
- ²⁵ Северная пчела, 1827, № 26.
- ²⁶ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 290.
- ²⁷ Литературная газета. 1830, № 7 (31 января), с. 49.
- ²⁸ Северные цветы на 1830 год. Проза, с. 132—133.
- ²⁹ ИРЛИ. Ф. 168, № 16494, лл. 59 об. 60, 61.
- ³⁰ Северная пчела. 1833, № 41, 22 февраля, с. 161.
- ³¹ Пушкин А. С. Капитанская дочка. Л., 1984, с. 99.
- ³² Там же, с. 121, 127.
- ³³ Там же, с. 296. Ср.: Фокин И. И. К вопросу об авторе «Рассказа моей бабушки». А. К. — Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. 1958. Т. 261, Серия филол. наук. Вып. 49, с. 155—163.
- ³⁴ Северные цветы на 1830 г. Проза, с. 130—131. Указано в кн.: Гилельсон М. И., Мушина И. Б. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Комментарий. Л., 1977, с. 85.
- ³⁵ Пушкин А. С. Капитанская дочка, с. 21—22.
- ³⁶ Кийко Е. И. Об авторе стихотворений, ошибочно приписывавшихся Салтыкову-Щедрину. — В кн.: Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.—Л., 1958, с. 313—316.
- ³⁷ ИРЛИ. Ф. 168, № 16493, л. 44 об.—45.
- ³⁸ Все стихотворения публикуются по копиям в рукописном альманахе «Подснежник» (ИРЛИ. Ф. 168 (Майковх), № 16493—16495, далее указывается только номер дела и листы).
Отъезд. 16493, лл. 44 об.—45. К стихотворению сделано примечание о Крюкове (см. вступ. статью). Впервые — Б-ка для чтения, 1841, т. 49, с. 138—139 (без эпиграфа).
Каратаю... 16493, л. 132 об.
Светская красавица. 16494, л. 69 об. Жажда любви. Там же, л. 114. Мой день. 16495, л. 193—193 об. Песенка. Там же, л. 194—194 об.

Историко-
биографический
альманах серии
«Жизнь
замечательных
людей»



Москва
«Молодая гвардия»
1987

Том четырнадцатый

ПОИСКИ,
НАХОДКИ.

Александр Никитин.	«И встретил нас Куницын»	238
Вадим Вацуру.	Александр Крюков и его стихи	252
Ирина Чистова.	Страница московской биографии М. Ю. Лермонтова	262
Анатолий Марков.	Хранящие тепло рук	273
С. Дурылин.	Великий рассказчик. Публикация А. Виноградовой	284
Мурад Аджиев.	Пионер Арктики Борис Вилькицкий	297
Михаил Зоценко.	Конец рыцаря Печального Образа. Предисловие и публикация Ю. Томашевского	305
Станислав Куняев, Сергей Куняев.	Товарищи по чувствам, по перу...	312

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СМЕСЬ.

Николай Шахмагонов.	Павший на поле чести	328
Евгений Симонов.	Эльбрус начинается...	339
А. Иванов.	Оком благодарного наследника	353
Юрий Шапошников.	Богатыри России	359
Александр Лонгинов.	Земля великана	375
Валерий Родиков.	В последнем был полете	382